Исповедь монаха

Автор:
Эллис Питерс

Исповедь монаха

Эллис Питерс

Хроники брата Кадфаэля #15Шедевры исторического детектива (Рипол)

На пороге смерти монах Шрусберийской обители кается в тяжком грехе, омрачившем всю его жизнь. Чудом исцелившись, он в сопровождении брата Кадфаэля решает совершить искупительное паломничество. Но они даже не предполагают, что ожидает их в конце пути…

Эллис Питерс

Исповедь монаха

ELLIS PETERS

The Confession of Brother Haluin

1988

© Storyside. 2022

© Роговская Н. Ф., Салютина О. А., перевод на русский язык, 2022

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

Видите того пожилого монаха

в подоткнутой рясе? Сейчас утро, и брат Кадфаэль

возится в своем садике:

собирает лекарственные травы,

ухаживает за кустами роз.

Вряд ли кому придет в голову,

что перед ним – бывший участник

крестовых походов, повидавший полмира

бравый вояка и покоритель женских сердец.

Однако брату Кадфаэлю приходится зачастую

выступать не только в роли врачевателя

человеческих душ и тел, но и в роли

весьма удачливого, снискавшего славу детектива,

ведь тревоги мирской жизни не обходят стороной

тихую бенедиктинскую обитель.

Не забудем, что действие «Хроник брата Кадфаэля»

происходит в Англии XII века,

где бушует пожар междоусобной войны.

Императрица Матильда и король Стефан

не могут поделить трон, а в подобной неразберихе

преступление – не такая уж редкая вещь.

Так что не станем обманываться

мирной тишиной этого утра.

В любую секунду все может измениться…

Глава первая

В тот, 1142 год морозы ударили рано. Сначала долго тянулась осень, теплая, дождливая, печальная, а потом пришел декабрь и вместе с ним – низкие серые тучи и короткие, темные дни, которые неподвижной тяжестью легли на крыши домов, тяжелой дланью сдавили сердце. Даже днем в монастырский скрипторий проникало так мало света, что выводить буквы удавалось с большим трудом и еще труднее было расписывать их красками – нескончаемый, независимо от времени суток, полумрак убивал живую силу цвета.

Знающие люди говорили, что надо ждать обильных снегопадов, и верно: в середине декабря повалил снег, без пурги и вьюги, сплошной неслышной стеной. Он шел несколько дней и ночей, сглаживая неровности, выбеливая все подряд, погребая под своей толщей овечьи отары на холмах и овчарни в долинах, приглушая всякий звук, наметая сугробы у каждой стены, обращая ряды крыш в цепи белых, непроходимых гор, а все пространство между небом и землей – в плотную завесу из огромных, как лилии, кружащихся хлопьев. Когда снегопад наконец прекратился и нагромождения облаков рассеялись, оказалось, что Форгейт наполовину ушел под снег, образовав почти ровную белую поверхность (даже тени были едва заметны), если не считать нескольких высоких строений аббатства, царивших над бесконечной плоской белизной, и таинственный, отраженный свет теперь превращал ночь в день там, где всего за неделю до этого зловещий сумрак превращал день в ночь.

Тот декабрьский снег, что обрушился на всю западную часть страны, не только стал бедствием для деревень, он вызвал жестокий голод в отдаленных селениях, погубил в горах немало пастухов вместе со всеми их стадами и надолго остановил всякое передвижение по дорогам. Этот снег повернул ход войны, перетасовал все карты ее участников и направил колесо истории в иное русло – в новый, 1143 год.

А еще тот снег стал причиной необычайного происшествия в аббатстве Святых Петра и Павла и последовавших за ним событий.

Вот уже пять лет между королем Стефаном и его кузиной, императрицей Матильдой, шла борьба за английский престол, и фортуна, раскачиваясь, словно маятник, не раз подносила победный кубок одному из соперников, чтобы, подразнив близким торжеством и не дав испить ни глотка, тут же предложить его другому. И теперь, обрядившись в снеговые зимние одежды, она снова вздумала перевернуть все с ног на голову и, будто по мановению волшебной палочки, выхватила императрицу из рук Стефана в тот самый миг, когда, казалось, железный кулак, сжимавшийся вокруг нее, должен был вот-вот сомкнуться, возвестив наконец триумф короля и окончание войны. Будто и не было пяти лет упорной борьбы – все приходилось начинать сначала! Однако это случилось далеко-далеко, за непроходимыми снегами, в Оксфорде, и, прежде чем новости достигнут Шрусбери, пройдет немало времени.

По сравнению с историческими перипетиями то, что происходило в аббатстве Святых Петра и Павла, нельзя расценить иначе как пустячную неприятность. Поначалу все так к этому и отнеслись. Прибывший с поручением от епископа уполномоченный, которому отвели одну из комнат на верхнем этаже странноприимного дома, и без того немало раздосадованный и огорченный тем, что принужден торчать здесь Бог знает сколько времени, пока дороги снова расчистятся, был разбужен среди ночи самым пренеприятнейшим образом: откуда-то сверху прямо ему на голову хлынул поток ледяной воды, о чем он, благо голос у него был зычный, в тот же миг возвестил на весь монастырь.

Брат Дэнис, попечитель странноприимного дома, поспешил утешить епископского посланца, перевел в другие покои и уложил в сухую постель, однако не прошло и часа, как стало ясно, что хотя вода больше и не льет с потолка, она продолжает упорно капать, и скоро протечки обнаружились еще в пяти-шести местах, захватив в общей сложности поверхность диаметром в несколько ярдов. Снег, скопившийся на южном скате крыши странноприимного дома, под собственной тяжестью стал постепенно проникать в щели между сланцевыми плитками кровли и даже, по-видимому, несколько из них продавил. Образовались снеговые карманы, которые пришли в соприкосновение с относительно теплым воздухом, поднимавшимся изнутри дома, и тогда с безмолвным коварством, присущим неодушевленным субстанциям, растаявший снег совершил обряд крещения над епископским эмиссаром. С каждой минутой положение ухудшалось.

Утром после службы было устроено срочное совещание по поводу того, что можно и доглжно предпринять в сложившихся обстоятельствах. С одной

стороны, работать на крыше в такую погоду было не только малоприятно, но и просто опасно, а с другой – если дотянуть починку до оттепели, в доме начнется настоящий потоп и масштабы бедствия, покуда ограниченные, будут тогда гораздо серьезнее.

Некоторые из братьев раньше работали на постройке служебных помещений, примыкающих снаружи к монастырской стене, – разных амбаров, сараев, конюшен, а брат Конрадин, которого ребенком отдали в обучение монахам, сызмальства постигал строительное дело под началом французских братьев в Сэ, откуда и был призван графом – основателем Шрусберийского аббатства, дабы возглавить постройку этой новой обители. Конрадин и сейчас был еще не стар и здоров как бык, и во всем, что касалось строений, последнее слово по праву принадлежало ему. Когда он увидел, каких размеров достигла протечка в странноприимном доме, то решительно заявил, что откладывать работу на потом негоже, иначе как бы не пришлось перекрывать половину южного ската крыши. Лес в запасе был, сланцевая плитка тоже, да и свинцовые плиты имелись. Южный скат нависал над сточной канавой, прорытой от мельничной протоки и сейчас скованной льдом, но тем не менее поставить леса было делом нехитрым. Конечно, померзнуть братьям придется основательно: шутка ли сказать – торчать на крыше, сперва сгребая горы снега, чтобы уменьшить зловредную тяжесть, а после заменяя поломанные и сдвинутые с места сланцевые плитки и заделывая поврежденные свинцовые листы. Однако, если работать по очереди, часто сменяясь, и в продолжение всего дня иметь возможность отогреваться в помещении, где разрешено будет жечь огонь с утра до вечера, покуда длится работа, с этой задачей справиться можно.

Аббат Радульфус послушал и кивнул массивной головой, как всегда мгновенно вникнув в суть дела и тут же приняв решение:

– Все ясно. Приступайте!

Едва снегопад прекратился и небо прояснилось, упрямые жители Форгейта, как следует укутавшись и вооружившись лопатами, метлами и граблями, выбрались из домов и начали дружно расчищать проход к главной дороге и прорывать в сугробах путь к мосту и городским воротам, за которыми не менее упрямые горожане вели, без сомнения, такую же решительную борьбу с неприятелем в белых одеждах. Морозы держались еще долго, незаметно, день за днем будто слизывая мягкие, пушистые края сугробов и мало-помалу уменьшая груз

снежной толщи. Когда некоторые из основных дорог стали более или менее проходимыми и по ним начали с трудом пробираться первые путники, подгоняемые либо безрассудством, либо жестокой необходимостью, монахи под водительством брата Конрадина поставили леса и укрепили на скате крыши лестницы и уже все по очереди лазили наверх и подставляли себя беспощадной стуже – осторожно освобождали кровлю от непомерной тяжести снега, чтобы добраться до поврежденной свинцовой обкладки и поломанных плиток сланца. Вдоль скованной льдом сточной канавы выросла гряда беспорядочно наваленных друг на друга бесформенных снежных куч, а один из братьев, то ли не расслышав, то ли не придав значения раздавшемуся сверху крику «Берегись!», в один миг оказался погребенным под обрушившейся на него снежной лавиной, так что пришлось его срочно откапывать и направлять в «обогревательную», чтобы он мог там отогреться и отдышаться.

К этому времени сообщение между Форгейтом и городом было уже налажено и важные новости из Винчестера, несмотря на все препятствия и задержки, за несколько дней до Рождества докатились до Шрусбери и стали известны замковому гарнизону и шерифу.

Вернувшись из города, Хью Берингар первым делом поспешил к аббату Радульфусу, чтобы поведать ему, как разворачиваются события в государстве. В стране, обескровленной пятилетней братоубийственной войной, светским властям и Церкви надлежало действовать заодно, и там, где шериф и аббат умели прийти к согласию, им удавалось обеспечить относительное спокойствие и порядок на вверенных им землях и избавить население от самых тяжких потрясений смутного времени. Хью хранил верность королю Стефану, служил ему верой и правдой, но еще преданнее служил он людям своего графства. Он бы с радостью встретил – а нынешняя осень и зима давали к тому все основания – весть о победе короля, но его главная забота была в том, чтобы, когда пробьет час победы, вручить суверену графство хоть до какой-то степени благополучное, неразоренное и даже благоденствующее.

Выйдя от аббата, Хью отправился на поиски брата Кадфаэля. Он обнаружил старого друга в его рабочем сарайчике на краю небольшого сада, где летом росли целебные травы, – тот деловито помешивал какое-то булькающее на огне зелье. Хлопот зимой, как всегда, было хоть отбавляй: кашель, простуда, отмороженные пальцы на руках и ногах – только успевай пополнять запасы снадобий в монастырском лазарете. Хорошо еще, что благодаря вечно раскаленной жаровне работать в дощатом сарайчике было все же теплее, чем,

например, в скриптории, где часами корпели над манускриптами писцы и художники.

Хью толкнул дверь, и на старого монаха дохнуло с улицы холодным воздухом. Кадфаэль сразу заметил, что его молодой друг чем-то взбудоражен, хотя, будь на его месте кто-то другой, он вряд ли сумел бы уловить в лице Берингара какие-либо признаки волнения. Но от Кадфаэля не укрылась досадливая порывистость движений и наспех оброненное приветствие, а посему он прекратил помешивать отвар и внимательно посмотрел в лицо молодого шерифа, сразу отметив возбужденный блеск его черных глаз и нервное подергивание щеки.

– Все псу под хвост! – с ходу выпалил Хью. – С чего начали, к тому приехали.

Кадфаэль не стал расспрашивать его что да как – зачем? Хью и сам ему все расскажет. Тем более что лицо и голос Берингара выдавали не только досаду и горечь разочарования, но и сдерживаемый смех и даже, может быть, скрытое одобрение – чего тут было больше, трудно сказать. Хью с размаху плюхнулся на лавку возле стены и обреченно свесил руки между колен.

– Нынче утром с юга через заносы к нам прорвался гонец, – сказал он, подняв глаза на озабоченное лицо друга. – Пташка-то упорхнула! Вырвалась, представь себе, и полетела в Уоллингфорд, где ее дожидается братец. А король остался ни с чем. Прямо из-под носа ушла! Он ведь ее, можно сказать, в руках держал, так она возьми и между пальцами прошмыгни! Постой-ка, постой-ка, – Хью широко раскрыл глаза, будто его осенила внезапная догадка, – уж не нарочно ли он дал ей уйти, когда оставалось только затянуть петлю? Очень на него похоже. Бог свидетель, он всем сердцем рвался заполучить ее, но, когда дошло до дела, мог и спасовать – ведь окажись императрица у него в руках, ему пришлось бы решать ее судьбу! Да, хотел бы я спросить его, верно ли угадал или нет, только жаль, не придется! – произнес он с ухмылкой.

– Если я правильно понял, – осторожно начал брат Кадфаэль, глядя на него поверх жаровни, – императрице удалось-таки сбежать из Оксфорда? Это при том, что королевские войска взяли ее в кольцо и припасы в замке истощились настолько, что ей грозила голодная смерть, – так, кажется, нам сказывали? Тогда каким же чудом она увернулась, хоть изворотливости ей и не занимать? Может, скажешь, у нее выросли крылья и она по воздуху пронеслась над войсками прямиком в Уоллингфорд? Не пешком же Матильда прошла через все

осадные рвы и валы, пусть даже ей удалось улизнуть из замка так, что никто не хватился?

– Хочешь верь, хочешь нет, она сбежала, Кадфаэль! Улизнула, и все тут! Тайком выбралась из замка и где-то как-то пробралась через кордоны Стефана. Все теряются в догадках, но, судя по всему, она на веревке спустилась по задней стене башни прямо к реке – она и еще двое-трое ее людей. Вряд ли их было больше. Все укутанные в белое, чтоб сливаться со снегом. А тогда как раз и сверху валил снег, опять же им на руку. Ну а дальше перешли по льду реку и еще миль шесть брели до Абингтона: это теперь наверняка известно, потому что там они взяли лошадей и поскакали себе в Уоллингфорд. Нет, какая женщина, Кадфаэль! Нужно отдать ей должное, согласись. Правда, когда удача на ее стороне, она становится невыносимой, но, Бог мой, как я понимаю мужчину, который готов идти за ней в огонь и в воду, когда удача ей изменяет!

– Так-так, значит, она и граф Фиц снова вместе, – произнес брат Кадфаэль со вздохом и покачал головой. – Ведь еще и месяца не прошло с той поры, когда всем казалось, что императрица и самый ее верный и преданный сподвижник навеки отрезаны друг от друга и им уж в сем грешном мире больше не свидеться.

Еще в сентябре строптивую императрицу, укрывшуюся в Оксфордском замке, заключили в кольцо осады, и королевское войско, постепенно сжимая кольцо, наконец захватило город, так что королю оставалось всего только набраться терпения и ждать, когда потрепанный в боях гарнизон Матильды начнет редеть от голода. И вот полюбуйтесь: всего-навсего одна дерзкая попытка, одна зимняя ночь – и она вновь на свободе и вольна снова собирать свое рассеянное войско, выступать в новый поход и на равных мериться силами с королем. Воистину мир не знал другого такого монарха, как Стефан, который ухитрился бы потерпеть поражение в обстоятельствах, когда победа просто неминуема. Впрочем, тут эти царственные особы друг друга стоили, недаром они родственники: довольно вспомнить, как императрица, со всей помпой утвердившись в Вестминстере и со дня на день ожидая коронации, сумела своим неоправданным высокомерием и жестокостью до такой степени восстановить против себя жителей столицы, что те взбунтовались и изгнали ее. Не иначе сама фортуна, видя, как один из них вот-вот завладеет вожделенной короной, всякий раз пугалась, что окажет истории сомнительную услугу, и поспешно выхватывала свой дар из-под самого носа претендента.

– Что ж, – сказал Кадфаэль, приходя в себя от потрясения и передвигая булькающий горшок поближе к краю жаровни на решетку, чтобы отвар мог там спокойно настаиваться, – по крайней мере одной заботой у Стефана стало меньше. Ему уже не надо решать ее судьбу.

– Вот-вот, – язвительно поддакнул Хью. – У него не хватило бы духу заковать ее в цепи, как сделала она, когда взяла его в плен после битвы при Линкольне, а с другой стороны, она теперь всем показала, что просто так ее и за каменной стеной не удержишь. Сдается мне, в последние месяцы он старался поменьше думать обо всем этом и не заглядывать вперед далее той минуты, когда наконец вынудит ее сдаться. Зато теперь он заведомо избавлен от всех неприятных сюрпризов, которые начались бы после ее пленения. Самое милое дело для него было бы лишить ее всяческих надежд и заставить подобру-поздорову убраться восвояси в Нормандию. Но нам ли не знать, – с грустью возразил он сам себе, – что эта дама никогда не откажется от борьбы.

– Ну а как повел себя король Стефан? Как он принял поражение? – полюбопытствовал Кадфаэль.

– Как и следовало ожидать – теперь уж я успел его изучить, – ответил Хью невольно потеплевшим голосом. – Едва императрица сбежала, Оксфордский замок открыл ворота королю. Но без нее какой ему прок в остальных – полудохлых, голодных крысах? Приспешники короля, те не прочь были бы выместить злобу на несчастном гарнизоне. Однажды, как тебе известно, он поддался злым уговорам и учинил кровавую расправу здесь, в Шрусбери. Против собственной воли, Господь Бог тому свидетель! И после того зарекся раз и навсегда. Если б не горькая память о Шрусбери, может, Оксфорд и не уцелел бы. Король дал приказ не причинять защитникам никакого вреда при условии, что те немедля разойдутся по домам. В замке он оставил сильный гарнизон, который будут снабжать всем необходимым, так что это отныне цитадель Стефана, а сам он со своим братом-епископом направился в Винчестер встречать Рождество. Туда же по случаю праздника он созывает всех верных ему шерифов из центральных графств Англии. Король давненько не наведывался в наши края, и немудрено, что ему захотелось устроить нам смотр и самолично убедиться в крепости своих тылов.

– Как, неужели прямо сейчас? – удивился Кадфаэль. – Ехать в Винчестер? Да ты ни за что не поспеешь к сроку.

– Должен поспеть, не я один в таком положении. У нас в запасе четыре дня, и, если верить гонцу, там, к югу, уже оттепель и дороги расчистились. Завтра же тронусь в путь.

– Вот так так! Элин и малец должны сидеть в праздник без тебя? Жилю, бедняжке, только-только три годика стукнуло! – Сынишка Хью появился на свет под Рождество, посреди зимы, стужи и метелей. Кадфаэль, его крестный отец, души в нем не чаял.

– Ничего, Стефан надолго нас не задержит, – доверительно сообщил ему Хью. – Мы нужны королю на местах, иначе кто будет блюсти здесь его интересы и пополнять казну? Ежели ничего не стрясется, к Новому году я вернусь. Но если б ты смог разок-другой заглянуть к Элин, пока меня нет, она была бы рада. Думаю, отец аббат отпустит тебя ненадолго, а этот твой долговязый подручный – Винфрид, кажется? – уже довольно ловко управляется с бальзамами и прочими снадобьями, так что доверить ему твое хозяйство на час или два вполне можно, а?

– Будь спокоен, я с превеликой радостью позабочусь о твоих, – сразу откликнулся Кадфаэль, – пока ты распускаешь хвост при дворе. Да только без тебя им все равно будет тоскливо. Но подумать только: пять лет бьются, а проку никакого! Новый год начнется, опять свару затеют, это уж как пить дать. И так без конца – сколько сил потрачено, и все напрасно. Хоть бы что изменилось!

– Ну если на то пошло, кое-что все-таки изменилось! – Хью саркастически рассмеялся. – У нас, похоже, появился еще один претендент, так-то, Кадфаэль! На выручку жене граф Анжуйский смог выслать лишь жалкую горстку рыцарей, но зато он отправил к ней кое-кого, с кем ему, видать, расстаться было не жалко. А может, он просто сумел раскусить Стефана и сделал беспроигрышный ход, уверенный в том, что ничем не рискует. Словом, он отправил к Матильде сына, вверив мальчика попечению дяди, Роберта Глостерского. Судя по всему, в надежде, что англичане охотнее пойдут за ним, чем за его мамашей. Итак, Генрих Плантагенет, девяти лет отроду – или нет, кажется, десяти? Во всяком случае, не более! Роберт, как велено, самолично доставил его в Уоллингфорд и передал матери. Полагаю, теперь мальчишку уже успели переправить куда-нибудь в Бристоль или Глостер, подальше от беды. Но даже если б Стефан его перехватил – что взять с ребенка? Вернее всего, дело кончилось бы тем, что ему пришлось бы за собственный счет снаряжать корабль и под надежной охраной отправлять несмышленыша домой во Францию.

– Неужто правда? – глаза Кадфаэля широко раскрылись от изумления и жгучего любопытства. – На нашем небосклоне взошла новая звезда, так, что ли, выходит? Молодой, да ранний! Что ж, хоть одна душа встретит Рождество с легким сердцем – сама свободна, и сын при ней. Да, спору нет, это вдохнет в Матильду новые силы. Но я что-то сомневаюсь, чтобы ей от него была еще какая-то польза.

– Дай срок! – пророчески промолвил Хью. – Поживем – увидим, на что он способен. Если от матери ему передалась твердость духа, а от отца – ум, то через каких-нибудь несколько лет короля Стефана ждут большие неприятности. Покуда есть время, в наших интересах сделать так, чтобы мальчишка вернулся на пару с венценосной мамашей к себе в Анжу да там и оставался бы. Эх, – с досадой произнес Хью, резко подымаясь на ноги, – если бы сын Стефана не был так безнадежен, нам не пришлось бы гадать, каков будет сынок императрицы, когда вырастет. – Он досадливо передернул острыми плечами, словно стряхивая с себя тяжкое бремя сомнений. – Ну, я пошел собираться в дорогу. Тронемся на рассвете.

Кадфаэль переставил теплый горшок на земляной пол и вышел проводить друга – вместе они прошагали через замерший в оцепенении садик у монастырской стены, между ровными рядами спящих грядок, укутанных теплым пушистым снежным одеялом, под которым не страшны никакие морозы. Выйдя на тропу, что тянулась вдоль застывших прудов, они увидели вдалеке, на той стороне зеркальной ледяной поверхности, за раскинувшимися вдоль северной стены садами, длинный скат крыши странноприимного дома, нависающий прямо над сточной канавой, темный силуэт большой деревянной клетки, образованной лесами и мостками, и две закутанные фигуры, копошащиеся на расчищенной от снега крыше.

– У вас, как я погляжу, тоже забот хватает, – заметил Хью.

– Так ведь у кого их нет, тем паче зимой? Несколько плиток на кровле сдвинулись с места, а иные и вовсе раскололись. Вот епископского капеллана и окатило ледяной водицей, когда он мирно почивал. Ежели оставить все как есть до оттепели, у нас там начнется настоящий потоп и с крышей возни будет не в пример больше.

– Ну, ваш главный строитель свое дело знает – ишь, даже морозы ему не помеха. – Хью разглядел знакомую кряжистую фигуру мастера, который, стоя на

средней перекладине длинной лестницы, рывком забросил наверх лоток, груженный сланцевыми плитками. – Эдакую тяжесть не всякий молодой от земли оторвет, а ему хоть бы что. М-да, этим, на крыше, тоже не позавидуешь, – сказал Хью, переводя взгляд с верхней площадки лесов, заставленной стопками плиток, на два крошечных силуэта, которые неуверенно двигались по обледенелой крыше.

– Мы часто сменяем друг друга, и потом, всегда можно погреться у огня в нашей «теплой» комнате, когда слезешь вниз. Нас-то, стариков, не принуждают участвовать в этой работе, но никто не уклоняется: есть ведь еще больные и немощные – рук не хватает. Никто не ропщет, хотя думаю, что Конрадину все это не по вкусу. У него сердце не на месте, когда там, наверху, бесшабашные юнцы-послушники, и, будь его воля, он бы привлекал к работе только тех, за кого можно не беспокоиться. Но за молодежью он следит в оба. И вообще, стоит ему заметить, как тот или иной побледнел, не выдерживает высоты – тут же возвращает его вниз, на землю. Высоту ведь кто как переносит.

– А ты сам тоже лазил наверх? – полюбопытствовал Хью.

– Как же, вчера свою очередь отработал, днем, до сумерек. Дни-то, видишь, короткие, как назло. Но, должно быть, на той неделе все закончим.

Хью сощурился: в глаза внезапно ударил невесть откуда пробившийся луч солнца, и снег вокруг вспыхнул, заискрился.

– А кто эти двое – там, на крыше? Один вроде брат Уриен, верно? А другой?

– Брат Хэлвин.

Стройная, легкая фигура почти терялась за выступом лесов, но Кадфаэль приметил Хэлвина часом раньше, когда тот с напарником карабкался вверх по лестнице.

– Ушам своим не верю – лучший Ансельмов художник? Как же вы это допустили? Не беречь такого искусника! Что будет с его руками? Мороз-то нешуточный! Пошурует на таком холоде плитками, а потом неделю, а то и две не сможет взять кисточку в руки.

– Ансельм добился бы для него освобождения от работы, – пояснил Кадфаэль, – да только Хэлвин ни в какую сам не соглашался. Кто бы осудил его за такую поблажку, зная, какие бесценные творения создает он своими руками? Но уж так он устроен, Хэлвин, что ежели где поблизости окажется власяница, сейчас же подавай ему – не успокоится, пока на себя не натянет. Что за парень, право слово, вечно в чем-то кается! Бог весть каких грехов он себе напридумывал! Лично я не знаю за ним ни одного, даже пустячного, отступления от правил с той поры, как он пришел к нам послушником, а если учесть, что обет он принял, когда ему не было и восемнадцати, мне с трудом верится, что дотоле он успел причинить много зла. Но встречаются ведь и такие, кому на роду написано без конца казнить себя да каяться. Может, их назначение – брать на себя часть бремени с души тех из нас, кто слишком легко смиряется с мыслью, что все мы люди, а люди, как известно, далеко не ангелы. Если избыток его праведности поможет замолить пред Всевышним какие-то из моих собственных проступков, пусть ему это зачтется, когда придет черед подводить последний итог. Я не против.

Кругом лежал глубокий снег, и было слишком холодно, чтобы надолго задерживаться и наблюдать за медленными, осторожными действиями монахов, занятых починкой крыши. Поэтому друзья вновь двинулись по тропинке, огибавшей монастырские пруды (на ледяной поверхности которых брат Симон прорубил несколько лунок, чтобы под лед к рыбам поступал воздух), и по узкому дощатому мостику, подернутому коварным тонким ледком, перешли на другой берег мельничной протоки, что питала водой пруды. Отсюда уже было рукой подать до странноприимного дома, и леса, обхватившие его южную стену и нависшие над сточной канавой, полностью закрыли от них фигуры на крыше.

– Давным-давно, еще послушником, он одно время помогал мне возиться с моими травками, – припомнил Кадфаэль, когда они миновали заснеженные грядки и вышли на обширный монастырский двор. – Это я снова о Хэлвине. У меня самого тогда только закончился срок послушничества. Но я-то ушел в монастырь на пятом десятке, а ему едва восемнадцать стукнуло. В помощники ко мне его определили, потому как он грамоту разумел и латынь у него от зубов отскакивала, а я после трех-четырех лет учебы науку только-только стал постигать. Семья у него родовитая, и земля есть – со временем он унаследовал бы поместье, если б остался в миру. А так все отошло какому-то двоюродному брату. Мальчишкой его, как водится, отдали в графский дом, и там он служил письмоводителем – способности к наукам и счету у него были недюжинные. Я часто удивлялся про себя: что заставило его пойти по другой стезе? Но у нас об этом не принято спрашивать, таков неписаный закон. Это зов, который вдруг

ощущаешь и противиться которому бессмысленно.

– Было бы проще и разумнее с самого начала определить юнца в скрипторий, коли он такой ученый, – заметил Хью тоном рачительного хозяина. – Мне доводилось видеть его работы – глупо заставлять его делать что-то другое, глупо и расточительно!

– Все так, но совесть, видишь ли, не давала ему покоя, и пока он не прошел все стадии рядового послушничества, не угомонился. Три года он трудился у меня, потом два в приюте Святого Жиля – ходил за больными и увечными, потом еще два работал в садах Гайи, а после помогал пасти овец в Ридикросо, и только тогда остановился на ремесле, которое, как мы знаем, подходит ему гораздо более прочих. Однако и поныне, сам видишь, он не желает пользоваться привилегиями на том основании, что его руке подвластны кисть и перо. Если другие должны подвергать себя опасности, скользить и оступаться на заснеженной крыше, значит, и он тоже должен. Честно сказать, не самый страшный недостаток, – признал Кадфаэль, – но он во всем доходит до крайности, а Устав этого не одобряет.

Тем временем они пересекли двор, направляясь к надвратной башне, где Хью привязал своего коня – рослого, костистого, серого в яблоках конягу, которого он предпочитал всем прочим и который мог бы с легкостью нести на себе не одного, а двух-трех таких седоков, как его худощавый хозяин.

– А снега-то сегодня не будет, – сказал Кадфаэль, вглядываясь в дымку на небе и поводя носом, будто принюхиваясь к легкому, словно усталому ветерку, – ни сегодня, ни в ближайшие несколько дней, так мне кажется. И серьезных морозов тоже – поморозило, хватит уж! Дай Бог тебе удачи – чтоб твое путешествие на юг прошло сносно!

– На рассвете тронемся. И, с Божьей помощью, к Новому году вернемся. – Хью взял поводья и легко вспрыгнул в высокое седло. – Хорошо бы оттепель немного задержалась, пока вы не приведете в порядок крышу. Надеюсь, так и будет! И навещай Элин, она тебя ждет.

Он поскакал за ворота, оставляя за собой гулкое эхо. В морозном воздухе мелькнула и погасла выбитая копытом яркая искорка. Кадфаэль повернул назад и направился к дверям лазарета, чтобы глянуть, достаточно ли целебных

снадобий в шкафчике брата Эдмунда. Еще какой-нибудь час – и поползут сумерки, такая пора, самые короткие дни в году. Выходит, брат Уриен и брат Хэлвин нынче последними работают на крыше.

Как это случилось, так никто до конца и не понял. Брат Уриен, точно исполнивший приказ брата Конрадина спуститься на землю по его команде, позднее пытался восстановить наиболее вероятный ход событий, но и он признавал, что полной точности тут быть не может. Конрадин, привыкший к тому, что другие беспрекословно ему подчиняются, и справедливо полагавший, что ни один человек в здравом уме не станет по доброй воле подставлять себя лютому холоду дольше положенного срока, попросту выкрикнул команду спускаться и, не дожидаясь, пока ее исполнят, стал подбирать остатки набросанных за день плиток, дабы они не мешались под ногами у его подручных, когда те спустятся на землю. Брат Уриен благополучно перелез с опасного ската на доски лесов и, осторожно нащупывая ногой перекладины, спустился по длинной лестнице вниз, рад-радехонек наконец освободиться от тяжелой повинности. Физически он был крепок, от работы не отлынивал и, хоть особых навыков не имел, опирался на изрядный жизненный опыт; однако же он не видел большой нужды делать сверх того, что от него требовали. Став на землю, он отошел на несколько ярдов и закинул голову – посмотреть, насколько они продвинулись, – и тут увидел брата Хэлвина, который вместо того, чтобы спускаться по короткой, укрепленной на скате лестнице, напротив, полез выше и, сильно отклонившись всем корпусом в сторону, приготовился стряхнуть с крыши очередной пласт снега, пытаясь обнажить скрытые под ним плитки кровли. По-видимому, он по какой-то причине заподозрил, что в той части кровля тоже повреждена, и вознамерился очистить ее от снега, чтобы предотвратить новую беду.

Толстенный, с закругленными краями пласт снега сдвинулся, скользнул вниз, по пути собираясь в складки, и обрушился – частью на край верхней площадки лесов и стопку приготовленных на замену плиток, частью, перевалившись через край крыши, на землю. Конечно, трудно было предугадать, что промерзшая масса снега уже не так крепко, как прежде, держится на плитках, да и скат был крутой – вот она и съехала монолитным пластом, разбившимся в пыль при ударе о леса. Хэлвин не рассчитал: вместе со снегом по скату заскользила и лестница – та же масса снега прежде как раз и придавала ей устойчивость. Хэлвин сорвался с лестницы и покатился вниз, опережая ее, задел край верхней площадки лесов и, даже не вскрикнув, рухнул на лед канавы. Следом за ним неслась снежная

лавина и увлекаемая ею лестница – от страшного удара дощатая площадка разлетелась на куски, и распростертое внизу тело в одно мгновение оказалось под грудой снега, обломков досок и тяжелых, с острыми краями сланцевых плиток.

Брат Конрадин, еще возившийся у самого основания лесов, едва успел отскочить в сторону и несколько секунд стоял ослепленный, недоумевающий, в облаке снежной пыли. Брат же Уриен, находившийся значительно дальше и уже было открывший рот, чтобы позвать заработавшегося напарника – стало быстро темнеть, – успел только крикнуть «Берегись!» и рванулся вперед, так что снежный ком краем задел и его. На ходу отряхиваясь и по колено утопая в снегу, они одновременно с двух сторон кинулись к брату Хэлвину.

Едва взглянув на него, брат Уриен побежал звать на помощь Кадфаэля, а Конрадин помчался в другую сторону – к монастырскому двору, где первого встретившегося ему монаха послал за братом Эдмундом, попечителем монастырского лазарета. Кадфаэль был у себя в сарайчике – закладывал на ночь дерном тлеющие угли в жаровне, – когда, громко хлопнув дверью, на пороге возник брат Уриен: его удрученный, встревоженный вид яснее ясного говорил, что принес он плохие новости.

– Поспеши, брат! – сказал он без лишних предисловий. – Брат Хэлвин свалился с крыши и разбился.

Кадфаэль, тотчас смекнув, что все расспросы лучше отложить на потом, молча схватил с пола последний кусок дерна, наспех положил его на угли и стащил с полки толстое шерстяное одеяло.

– Насмерть? Поди не меньше сорока футов пролетел, бедняга, небось еще покалечился о леса, и внизу ведь голый лед! Но, если ему повезло, он мог попасть в сугроб – снегу полно, к тому же с крыши тоже набросали – может, все и обойдется?

– Дышит пока. Но насколько его хватит? Конрадин послал за подмогой. Эдмунда тоже должны были известить.

– Идем! – Кадфаэль первый выбежал из дому и что было духу ринулся к пешеходному мостику над протокой, потом вдруг резко остановился и рванул

напрямик, по узкой насыпи, разделявшей монастырские пруды – там, в конце насыпи, протоку было легко перепрыгнуть и, главное, он быстрее оказался бы возле Хэлвина. Со стороны главного двора навстречу им приближались огни зажженных факелов – то был брат Эдмунд с двумя подручными, которые тащили носилки. Вел их за собой брат Конрадин.

Брат Хэлвин неподвижно лежал посреди груды обломков, а на льду под его головой темным пятном расплывалась кровь.

Глава вторая

Конечно, трогать его было опасно, но оставить на месте значило попросту смириться, безропотно отдать его в руки смерти, которая уже нависла над ним. Молча, сосредоточенно, понимая, что каждая минута на счету, монахи принялись за дело – голыми руками стали разгребать завал, откапывая Хэлвина из-под обломков досок и сланцевых плиток с острыми как нож краями, которые так изрезали его ноги, что превратили их в сплошное кровавое месиво. Он лежал в глубоком обмороке и не чувствовал, как под него подсунули ремни и, приподняв со льда, переложили на носилки. Через темный, ночной сад его принесли в лазарет, где брат Эдмунд уже приготовил ему постель в маленькой комнате, отдельно от больных и немощных, доживавших здесь, в монастырской больнице, свой век.

– Ему не выкарабкаться, – сказал Эдмунд, вглядываясь в мертвенно-бледное, безучастное лицо.

По правде говоря, Кадфаэль и сам так думал. Да и все, кто там был, тоже. Но пока Хэлвин дышал – пусть это было прерывистое, шумное дыхание, свидетельствующее о серьезном, а может, и неизлечимом повреждении черепа. И братья взялись врачевать его как больного, который может выжить, вопреки своему собственному убеждению, что выжить ему не суждено. Бесконечно осторожно, стараясь лишний раз его не тревожить, они сняли с него заледеневшую одежду и обложили с боков одеялами, обвернутыми вокруг нагретых камней. Кадфаэль тихонько ощупывал его, проверяя, какие кости целы, какие сломаны. Он наложил повязку на левое предплечье, предварительно вправив торчащие наружу острые обломки кости. Неподвижно

застывшее лицо при этом ни разу даже не дрогнуло. Затем травник внимательно осмотрел и ощупал голову Хэлвина, перевязал кровоточащую рану, но не сумел выяснить, поврежден ли череп. Тяжелое, хриплое дыхание как будто говорило в пользу этого печального предположения, но все же окончательной уверенности не было. А потом брат Кадфаэль перешел к покалеченным ступням и лодыжкам несчастного – и тут уж ему пришлось основательно повозиться. Хэлвина тем временем раздели, прикрыли подогретыми полотнищами (снаружи остались только ноги), не то он, не ровен час, мог попросту умереть от холода, и на всякий случай со всех сторон подперли его распростертое тело таким образом, чтобы Хэлвин не мог пошевелиться, даже если пришел бы в себя и непроизвольно дернулся от боли. Впрочем, в это никто не верил – ну разве самую малость, цепляясь за какую-то упрямую, неведомо где притаившуюся ниточку надежды, которая заставляла не жалея сил поддерживать угасающую на глазах искру жизни.

– Отходил свое, бедняга, – сказал брат Эдмунд, невольно содрогнувшись при виде раздробленных ступней, которые Кадфаэль в эту минуту заботливо обмывал.

– Да, на своих ногах ему больше не ходить, – мрачно подтвердил Кадфаэль. Тем не менее он продолжал скрупулезно собирать воедино, что еще можно было собрать.

Пока с братом Хэлвином не стряслась беда, ступни у него были длинные, узкие, изящные, под стать всей его легкой, стройной фигуре. Острые обломки плиток оставили на них глубокие, рваные раны – где прорвав плоть до кости, а где и раздробив саму кость. Долго, очень долго пришлось извлекать окровавленные осколки и потом тщательно перевязывать каждую ступню так, чтобы придать ей хоть какое-то подобие прежней формы; затем на ноги надели наспех сделанные из войлока импровизированные колодки, выложив их внутри мягким тряпьем, чтобы ступни все время оставались неподвижными и могли заживать – если, конечно, до этого дойдет.

Все это время брат Хэлвин лежал безучастный к тому, что с ним делали, погруженный в какие-то неведомые глубины, куда не проникает ни свет, ни тьма земного мира, и только хрипло, надсадно дышал, но вот и дыхание постепенно стихло до едва уловимого шелеста, словно один-единственный лист, случайно задержавшийся на ветке, чуть колыхался, колеблемый неслышным ветерком. Присутствующим показалось, что страдалец умер. Но листок на ветке еще

подрагивал, хотя так слабо, что и заметить было трудно.

– Если он придет в себя хоть на минуту, немедленно пошлите за мной, – распорядился аббат Радульфус и ушел, оставив их бдеть подле постели больного.

Брат Эдмунд удалился, чтобы немного поспать. А Кадфаэль остался на ночь вместе с братом Руном, самым молодым из монахов обители. Они расположились по обе стороны от ложа умирающего и не сводили глаз со спавшего глубоким сном брата, который не получил ни причастия, ни благословения, – словом, не был подготовлен к смерти.

Немало лет прошло с тех пор, как Хэлвин вышел из-под попечения брата Кадфаэля и отправился на тяжелые физические работы в Гайю. Кадфаэль пристально вглядывался в его нынешние черты, вспоминая те, давние, почти забытые, – как сильно и одновременно как мало он изменился! Да, крупным Хэлвина не назовешь, хотя росту он повыше среднего, в кости тонкий, изящный даже, правда, теперь на костях у него больше жил и меньше мяса, чем когда он пришел в монастырь, совсем незрелым юнцом, еще не огрубелым, не затвердевшим в суровой мужественности. Сейчас ему, должно быть, тридцать пять – тридцать шесть, тогда только стукнуло восемнадцать, и он был полон нежной, юношеской свежести. Кадфаэль помнил его удлиненное лицо, красивые сильные линии подбородка и скул, тонкие дуги бровей, почти черных по сравнению с копной вьющихся каштановых волос, которой он предпочел тонзуру. Лицо, запрокинутое к потолку, даже на фоне подушки было сейчас белее мела; ввалившиеся щеки и два глубоких колодца закрытых глаз стали синеватыми, как тени на снегу, да и вокруг запавших губ прямо на глазах начала проступать та же лиловатая синева. В ранние, предрассветные часы, когда ручеек жизни бьется слабее всего, он испустит дух, а если нет – начнет исцеляться.

Напротив Кадфаэля, по другую сторону кровати, стоял на коленях брат Рун – сосредоточенный, но ничуть не страшащийся приближения смерти, и не потому, что смерть угрожала не ему; он знал, что и собственную смерть встретит так же спокойно. В полумраке его чистое юное лицо, венчик белокурых волос на голове, голубые глаза и какая-то неподдельная искренность словно озаряли все вокруг добрым светом. Нужно было обладать непоколебимой, наивной верой, чтобы спокойно оставаться у постели умирающего, ощущая в своем сердце только бесконечную любовь и добро, и ни тени жалости. Сколько раз Кадфаэль видел,

как к ним в обитель приходили молодые люди с печатью той же очарованной веры на челе, и сколько раз он видел, как эта вера не выдерживала испытания временем, тускнела, разрушалась понемногу под гнетом простой и такой трудной обязанности – сохранить и пронести через годы лучшие душевные качества. Но юному Руну эта опасность не грозила. Святая Уинифред, пославшая ему избавление от увечья, конечно, не допустит, чтобы ее щедрый дар был обесценен духовным изъяном.

Ночь тянулась бесконечно, не принося никаких перемен: брат Хэлвин был по-прежнему недвижим и никаких видимых признаков жизни не обнаруживал. Но вот, уже перед самым рассветом, Рун наконец тихо сказал:

– Смотри, он шевельнулся!

Чуть заметная дрожь пробежала по застывшему лицу, темные брови сдвинулись, веки напряглись, отзываясь на первые, пока еще смутные уколы боли, губы на миг растянулись, и на лице возникла гримаса страдания и беспокойства. Они ждали, как им показалось, долго, бессильные что-либо предпринять, разве только вытереть мокрый лоб и дорожку слюны, вытекшей из угла запавшего рта.

С первыми проблесками неверного, отраженного снегом света брат Хэлвин открыл глаза – черные, как уголь, глядящие из глубоких синеватых впадин, – и пошевелил губами, издав едва уловимый звук, так что Руну пришлось наклониться и приставить ухо к самым его губам, только тогда он смог разобрать и вслух повторить услышанное.

– Исповедь… – выдохнул тот, кто стоял на пороге смерти. Больше ничего.

– Беги позови отца аббата, – велел Кадфаэль.

Рун бесшумно поспешил исполнить команду. Хэлвин постепенно приходил в себя, к нему возвращалась ясность сознания и ощущений, взгляд становился осмысленным – он уже понимал, где находится и кого видит рядом, и с усилием собирал все остатки жизни и рассудка, дабы исполнить то, что ему казалось самым важным. По напряженным, побелевшим губам Кадфаэль видел, как стремительно накатывает на него боль, и пытался влить ему в рот немного маковой вытяжки, но Хэлвин только плотнее сжимал губы и отворачивал голову. Он не желал, чтобы что-то притупляло или заглушало его чувства, во всяком

случае не сейчас, не до того, как он облегчит свою душу.

– Отец аббат скоро будет, – сказал Кадфаэль, склонившись к самой подушке. – Подожди, побереги силы.

Аббат Радульфус и правда уже входил в дверь, пригнув голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Он сел на табурет, с которого несколькими минутами раньше поднялся Рун, и наклонился над несчастным. Рун остался за дверью наготове, если понадобится его помощь. Дверь он тактично притворил. Кадфаэль встал, чтобы удалиться, но тут желтоватые искорки беспокойства вспыхнули в провалившихся глазах Хэлвина и по телу его пробежала быстрая судорога, раздался стон нестерпимой боли: казалось, он хотел поднять руку и удержать Кадфаэля, да не мог. Аббат пригнулся еще ниже, чтобы Хэлвин не только слышал его, но и видел.

– Я здесь, сын мой. Я тебя слушаю. Что тревожит тебя?

Хэлвин набрал в легкие воздуха и задержал дыхание, словно накапливал побольше голоса.

– Я грешен… – вымолвил он. – Никому не рассказывал. – Слова давались ему с трудом, он говорил медленно, но вполне отчетливо. – Я виноват перед Кадфаэлем… давно… грешен… не покаялся.

Аббат взглянул на Кадфаэля, сидевшего с другой стороны кровати.

– Останься! Он так хочет. – Затем, снова обращаясь к Хэлвину, он коснулся его безжизненной руки и сказал: – Говори как можешь, мы тебя слушаем. Береги силы, говори мало, мы сумеем понять.

– Мой обет, – донеслось словно откуда-то издалека, – нечист… не вера привела… отчаяние!

– Многие приходят из ложных побуждений, – сказал аббат, – а остаются – из истинных. За те четыре года, что я возглавляю обитель, мне не в чем было тебя упрекнуть. Посему утешься: наверное, у Господа были причины призвать тебя именно так, а не иначе.

– Я был на службе у де Клари в Гэльсе, – произнес слабый голос. – У госпожи де Клари – сеньор уехал тогда в Святую землю. Его дочь… – Повисла долгая пауза, пока он старательно, терпеливо собирался с силами, чтобы продолжать и перейти к главному – и худшему. – Я любил ее… и она меня тоже. Но ее мать… она отклонила мое сватовство. То, чего нам не дали, мы взяли сами…

И снова долгая тишина. Посиневшие веки на минуту прикрыли горящие глаза в провалах черных глазниц.

– Мы были близки, – отчетливо проговорил он. – В этом грехе я покаялся, но ее имя хранил в тайне. Госпожа прогнала меня. От отчаяния я подался сюда… думал, так не принесу никому нового горя. Но самое страшное было еще впереди!

Аббат уверенным жестом положил свою руку на неподвижную руку Хэлвина и крепко сжал ее: лицо на подушке как-то сразу осунулось, превратилось в серую маску, дрожь побежала по изувеченному телу, оно напряглось и безжизненно замерло.

– Отдохни! – велел Радульфус, наклонясь к самому уху несчастного. – Не мучай себя. Господь слышит и несказанное.

Кадфаэлю, не сводившему с Хэлвина глаз, показалось, что его рука ответила на пожатие, – конечно, слабо, еле-еле. Он принес вино, настоенное на травах, которым смачивал губы больного, пока тот лежал без чувств, и влил несколько капель ему в рот. На этот раз Хэлвин не противился – жилы на худой шее напряглись, и он проглотил снадобье. Значит, его час еще не пробил. У него еще есть время снять тяжесть с сердца. Ему снова дали немного вина, и постепенно серая маска опять превратилась в живую плоть, хотя страшно бледную и слабую. Когда он снова заговорил, голос звучал почти неслышно и глаза были закрыты.

– Святой отец? – испуганно позвал Хэлвин.

– Я здесь. Я не оставлю тебя.

– Ее мать приезжала ко мне… Я и не знал, что Бертрада ждет ребенка! Госпожа очень боялась гнева своего мужа, когда тот вернется и все узнает. А я в то

время был в подручных у брата Кадфаэля… уже изучил разные травы. Я никому ничего не сказал, сам взял иссоп, ирис… Знал бы тогда Кадфаэль, на что я употребил его травы!

Да уж! То, что в малых дозах помогает снять воспаление в груди и избавиться от мучительного кашля или даже одолеть желтуху, в иных дозах способно прервать беременность, привести к выкидышу, а это уже деяние не только противное природе и неугодное Церкви, но и опасное для женщины, носящей плод в своем чреве. Из страха перед гневом мужа, из страха опозориться перед всем миром, из страха, что не удастся устроить дочери хорошую партию и что давние семейные распри за наследство вспыхнут с новой силой… Мать ли девушки заставила его пойти на это, он ли сам ее уговорил?.. Годы, проведенные в раскаянии и искуплении, не смогли избавить его от ужаса содеянного – того, что теперь судорогой сводило тело и застилало взор.

– Они умерли, – простонал он хрипло и громко, корчась от душевной боли. – Моя любимая и наше дитя, они умерли! Ее мать прислала мне известие уже после похорон. Дочь умерла от лихорадки, так она всем сказала. Умерла от лихорадки – и позора бояться не надо. Грех, мой страшный грех… Господи, прости меня!

– Всевышний знает, когда раскаяние искренно, а когда нет, – утешил аббат Радульфус. – Что ж, теперь ты поведал нам свою печаль. Это все, или ты желаешь сказать что-то еще?

– Это все, – выдохнул брат Хэлвин. – Осталось только попросить прощения. Я прошу прощения и у Бога, и у Кадфаэля, ведь я во зло употребил его искусство. И еще у леди Гэльс, моей госпожи, за то великое горе, что я причинил ей. – Теперь, высказав наконец то, что так долго таилось под спудом, он уже лучше владел речью, словно путы упали с его языка, и хотя говорил он по-прежнему тихо, но гораздо яснее и спокойнее. – Я хотел бы встретить смерть очистившимся и прощенным.

– Ну, брат Кадфаэль сам за себя скажет, – заметил аббат. – За Бога буду говорить я, ибо на мне Его благодать.

– Я прощаю тебе, – промолвил Кадфаэль, стараясь более тщательно, чем обычно, подбирать слова, – всякое злоупотребление моим искусством, совершенное в минуту временного помутнения разума. А то, что ты располагал знаниями и

средствами совершить преступление, а я не сумел удержать тебя от искуса, в том есть и моя вина, и я не могу упрекать тебя, не упрекая в то же время и себя самого. Пусть мир пребудет в твоей душе!

Речь аббата Радульфуса, которую он произносил именем Божьим, заняла немного больше времени. Слушая его, Кадфаэль невольно подумал, что кое-кто из братьев был бы до глубины души изумлен, открыв в аббате кроме его обычной непреклонной суровости такой запас рассудительной, властной, подчиняющей доброты. Хэлвин желал облегчить свою совесть и очиститься перед смертью. Налагать на него епитимью было слишком поздно. За успокоение души на смертном одре не назначают платы – его просто даруют.

– Безутешное, полное раскаяния сердце – вот единственная жертва, которую ты можешь предложить, и она не будет отвергнута. – И аббат отпустил ему грехи, благословил и с тем вышел, кивнув Кадфаэлю, чтобы тот последовал за ним. Силы оставили Хэлвина, и его лицо, только что светившееся благодарностью и умиротворением, снова замкнулось и не выражало ничего, кроме смертельной усталости, огонь в глазах потух, и он впал в полусон-полузабытье.

За дверью их терпеливо дожидался Рун, который намеренно отошел подальше, чтобы до него случайно не долетели какие-то обрывки исповеди.

– Пойди посиди с ним, – распорядился аббат. – Сейчас он, верно, заснул, и сон его будет покойным. Если заметишь какие-то перемены в его состоянии, сразу беги за братом Эдмундом. А если возникнет нужда в брате Кадфаэле, пошли за ним ко мне.

Они устроились в отделанных панелями покоях аббата – единственные два человека, посвященные в тайну преступления, ответственность за которое взял на себя Хэлвин, единственные, имеющие право обсудить друг с другом его признание.

– Я здесь всего четыре года, – без околичностей начал аббат Радульфус, – и не знаю, при каких обстоятельствах попал сюда Хэлвин. Насколько я понимаю, его почти сразу приставили к тебе помогать с травами – тут-то он и приобрел необходимые познания, которые, увы, так неблаговидно употребил. Скажи, это верно, что составленное им снадобье и впрямь могло кого-то погубить? Может,

юная леди все-таки умерла от лихорадки?

– Если ее мать воспользовалась этим снадобьем, как и собиралась, тогда лихорадка тут ни при чем, – печально сказал Кадфаэль. – Да, я знаю случаи, когда иссоп приводил к смерти. Какая глупость была с моей стороны держать его у себя, ведь я вполне смог бы найти ему замену среди других трав! Правда, в малых дозах трава и корень иссопа, высушенные и истолченные, прекрасно помогают от желтой немочи, а в смеси с шандрой он хорош при хрипах в груди, хотя для этой цели лучше брать разновидность с синими цветочками, она помягче. Я знаю, что женщины прибегают к нему, чтобы избавиться от плода – принимают в больших дозах и вычищают все так, как и не надо бы. Неудивительно, что порой бедняжки не выдерживают и умирают.

– И все это случилось, когда он был еще послушником. Если ребенок его, как он сам считает, значит, пробыл он в монастыре к тому времени совсем немного. Да ведь он сам был почти ребенок!

– Только-только восемнадцать стукнуло, ну и милой его, конечно, не больше, скорее всего – меньше. Да могло ли сложиться иначе, – вопросил Кадфаэль, – если жили они под одной крышей, виделись каждый Божий день, от рождения принадлежали к одному кругу – он ведь происходит из знатного рода – и, как все дети на свете, были открыты для любви? Удивительно другое, – произнес Кадфаэль, постепенно приходя в возбуждение, – почему его сватовство так вот походя отвергли? Он, между прочим, единственный сын в семье и со временем унаследовал бы от отца неплохое имение, если б не ушел в монастырь. Да и вообще, как я сейчас припоминаю, он был очень привлекательный молодой человек, образованный и к наукам способный. За такого многие были бы рады отдать свою дочь.

– Но, может, она была обещана другому? – предположил Радульфус. – И ее мать, боясь навлечь на себя гнев мужа, не решилась в его отсутствие дать разрешение на брак.

– И все же ей необязательно было отказывать ему окончательно и бесповоротно. Если бы она оставила ему какую-то надежду, он, конечно, набрался бы терпения и подождал еще немного, не стал бы опережать события, чтобы любой ценой добиться своего. Впрочем, я, пожалуй, несправедлив к нему, – осадил себя Кадфаэль. – Полагаю, в его поступке не было расчета, а только пылкое влечение, слишком пылкое. Хэлвин кто угодно, только не злонамеренный мерзавец.

– Что ж, так или иначе, – вздохнул Радульфус, – сделанного не воротишь. Он не первый и не последний, кто по молодости лет впадает в этот грех, так же как и она не единственная, кому пришлось за это заплатить. По крайней мере, она спасла свое доброе имя. Немудрено, что он боялся покаяться, даже своему духовнику не доверился – берег ее честь. Но с тех пор уже столько воды утекло – восемнадцать лет прошло, столько же, сколько было ему самому в ту пору. Теперь нам остается только позаботиться, чтобы на пороге вечного покоя его душа наконец обрела мир.

Все, кто молился о брате Хэлвине, уповали на тихое успокоение несчастного и только об этом просили Господа; ни на что другое надеяться уже не приходилось: ненадолго придя в себя, он снова впал в глубочайшее беспамятство. Пришло и ушло Рождество, сменялись у его постели монахи, а он лежал безучастный ко всему, ничего не ел, не издавал ни единого звука – и так продолжалось семь дней. И все же дыхание его, хотя и с трудом различимое, было ровным; а когда ему в рот вливали по капельке вино с медом, мышцы на шее тут же напрягались, совершая глотательное движение, несмотря на то что на лице его при этом ни разу не дрогнул ни единый мускул и широкий холодный лоб и закрытые глаза оставались каменно-неподвижными.

– У меня такое чувство, что от него осталось одно тело, – задумчиво сказал брат Эдмунд, – а дух на время из него вышел и где-то витает, будто ждет, когда его обиталище приведут в порядок – подправят, почистят, – чтобы там снова можно было жить.

«Что ж, неплохое сравнение и вполне в духе Священного Писания, – подумал Кадфаэль, – ибо Хэлвин изгнал бесов, населявших его душу, и ничего, коли их прежнее пристанище немного попустует – тем более если нежданное и невероятное исцеление все же свершится. Как знать? Конечно, тяжелое беспамятство брата Хэлвина, само по себе напоминающее вечный сон, уж очень затянулось, но ведь он не умер! И если у него остался какой-то шанс выжить, то нам всем надо глядеть в оба. Как бы на место одного беса, выскочившего за дверь, туда не кинулось семеро других – похлеще первого». И монахи истово молились за Хэлвина все эти дни, пока праздновалось Рождество и торжественно отмечалось начало нового года.

Тут и оттепель началась, медленно, словно нехотя уменьшая груз снежной толщи, – день за днем, незаметно, но теперь уже неотступно. Работы на крыше благополучно завершились, никаких происшествий больше не было, леса убрали, и в странноприимном доме можно было останавливаться, не боясь протечек. О недавнем переполохе напоминала только безмолвная и неподвижная фигура на одинокой лазаретной койке – несчастный, который не мог ни воскреснуть для жизни, ни тихо умереть.

Но вот вечером, накануне Крещения, брат Хэлвин открыл глаза, вздохнул протяжно и с удовольствием, как это делают, пробуждаясь, сотни людей, душа которых не отягощена тревогами, и удивленным взглядом обвел узкую комнату, пока не заметил брата Кадфаэля, тихонько сидевшего тут же на табурете и не сводившего с него глаз.

– Пить хочу, – произнес Хэлвин доверчиво, точно ребенок, и Кадфаэль, одной рукой приподняв его за плечи, другой дал ему напиться.

Все были готовы к тому, что Хэлвин опять провалится в забытье, но взор его оставался осмысленным, хотя и безучастным, и ближе к ночи он погрузился в нормальный сон, неглубокий, но спокойный. С того дня он окончательно повернулся лицом к жизни и больше не оглядывался на холодную пустоту за спиной. Выйдя из полумертвого бесчувствия, он опять попал во власть боли – ее безжалостный росчерк читался в мучительно напряженном лбе и плотно сжатых губах. Но он терпел и не жаловался. Пока он лежал в беспамятстве, сломанная рука начала срастаться и только немного ныла, как всякая заживающая рана. Внимательно понаблюдав за ним день-другой, и Кадфаэль, и Эдмунд пришли к выводу, что, если даже в голове у него что-то сместилось от удара, эти повреждения, вероятно, не оставили серьезного следа, и по мере заживления наружной раны все стало на место благодаря исцеляющей силе вынужденного покоя и неподвижности. Разум его был ясен. Он помнил обледенелый скат крыши, помнил свое падение, и однажды, оставшись наедине с Кадфаэлем, брат Хэлвин ясно дал понять, что помнит и о своем признании: он долго лежал молча и думал о чем-то, а потом вдруг сказал:

– Я дурно обошелся с тобой тогда, очень давно; теперь ты нянчишься со мной, выхаживаешь меня, а я ведь так и не искупил своей вины.

– Да ладно, дело прошлое, – невозмутимо проронил Кадфаэль и принялся осторожно, заботливо разматывать обмотки на искалеченной ступне, чтобы

заново ее перевязать. Все это время он делал перевязки на ногах два раза в день – утром и вечером.

– Но я должен заплатить за свой грех, сполна заплатить. Разве есть у меня иной способ очиститься?

– Ты же чистосердечно во всем покаялся, – пытался унять его Кадфаэль. – Ты получил отпущение от отца аббата. Чего тебе еще? Не слишком ли много ты на себя берешь?

– Но я не искупил греха. Отпущение досталось мне слишком легко, и я по-прежнему в должниках, – сумрачно ответил Хэлвин.

Кадфаэль наконец освободил от повязки левую, наиболее изувеченную ступню. Наружные раны и порезы затянулись, но множество раздробленных мелких костей уже никогда не удастся соединить надлежащим образом – они срастутся как попало, в один бесформенный комок, узловатый, искореженный, укрытый, как чехлом, залатанной кожей нездорового багрово-фиолетового цвета.

– Не волнуйся, – заявил Кадфаэль со свойственной ему грубоватой прямотой, – если за тобой и есть долги, ты сполна оплатишь их болью и будешь платить до конца твоих дней. Видишь, во что превратилась твоя ступня? Не очень-то надежная опора! Боюсь, ходить тебе уже не придется.

– Нет, – возразил Хэлвин, неподвижно глядя в узкий просвет окна на вечернее зимнее небо. – Нет, я буду ходить. Я должен ходить. Если будет на то воля Божья, я снова встану на ноги и пойду. Конечно, мне понадобятся костыли, но это ничего. И если отец аббат соблаговолит дать на то свое согласие, первое, что я сделаю, когда смогу самостоятельно передвигаться, – пойду своими ногами (какие они ни есть) в Гэльс, постараюсь испросить прощение у леди Аделаис де Клари и проведу ночь в молитвах и бдении у могилы Бертрады.

Про себя Кадфаэль подумал, что неистовое желание Хэлвина искупить свою вину вряд ли принесет утешение душам тех, кто еще жив или уже отошел в мир иной, да живые, пожалуй, и не вспомнят теперь, кто такой Хэлвин, – прошло ведь без малого восемнадцать лет. С другой стороны, если благое намерение дает человеку мужество и решимость жить, трудиться, творить, стоит ли его разубеждать? Поэтому Кадфаэль сказал так:

– Всему свое время. Давай-ка сперва как следует тебя подлатаем, подождем, пока к тебе вернутся силы, – крови-то сколько потерял! В таком состоянии тебя никто никуда не пустит. – И затем, внимательно осмотрев правую ступню, которая, по счастью, хоть как-то походила на нормальную человеческую ступню – на правой ноге даже лодыжка не была повреждена и выступала, как положено, Кадфаэль задумчиво добавил: – Надо будет смастерить для тебя какие-нибудь башмаки из толстого войлока и внутрь положить чего-нибудь помягче. Одной ногой ты, похоже, сможешь ступать на землю, хотя без костылей, само собой, не обойтись. Но до этого еще далеко, очень далеко – пройдут недели, а то и месяцы. Для начала снимем мерку и поглядим, что у нас получится.

Поразмыслив, Кадфаэль решил, что правильнее будет все-таки загодя уведомить аббата Радульфуса о намерении брата Хэлвина совершить акт покаяния, и после заутрени, уединившись с аббатом в его покоях, все ему поведал.

– Он снял со своей души столь тяжкое бремя, – сказал Кадфаэль, – что мог бы умереть спокойно, но судьба распорядилась иначе: ему суждено жить дальше. Ум его ясен, воля крепка, а телом он хотя покамест и изнурен, но не бессилен. И теперь, когда перед ним снова забрезжил свет жизни, он не захочет довольствоваться простым отпущением грехов – он жаждет искупить их суровым покаянием. Будь он другим, более легкомысленным, что ли, позволь он потом, когда поправится, уговорить себя забыть о данном в отчаянии обете паломничества в Гэльс, лично я был бы этому только рад и не подумал бы упрекнуть его. Но для Хэлвина без покаяния нет раскаяния. Я постараюсь задержать его, насколько смогу, но помяни мое слово: едва он почувствует, что достаточно окреп, он опять заведет этот разговор.

– Что ж, мне вряд ли пристало отказывать в исполнении столь благого намерения, – резонно заметил аббат, – однако я не дам согласия, пока он не наберется сил. Но если то, что он задумал, поможет ему обрести душевный покой, разве вправе я становиться у него на пути? И для несчастной женщины, потерявшей дочь, это тоже может стать запоздалым утешением. Мне не доводилось бывать в Гэльсе, – задумчиво произнес аббат, обеспокоенный предстоящим паломничеством калеки, – хотя о де Клари я что-то слышал. Ты не знаешь, далеко это?

– У восточной границы нашего графства, святой отец. От Шрусбери миль этак двадцать пять.

– Да, вот что еще. Владетельный лорд, хозяин манора, тот, что был в Святой земле, когда случилась вся эта печальная история, – он ведь до сих пор может пребывать в неведении относительно истинных обстоятельств кончины дочери, если из страха перед мужниным гневом его супруга решилась на столь отчаянный поступок. Не годится, чтобы брат Хэлвин, спасая собственную душу, навлек на этот дом новые несчастья и беды и подвергал опасности жизнь леди Гэльс. Каковы бы ни были ее проступки, она сполна оплатила их своим горем.

– Боюсь утверждать, святой отец, – сказал Кадфаэль, вполне разделяющий его опасения, – но не удивлюсь, если они оба уже несколько лет как почили с миром. Аббат Хериберт когда-то посылал меня с поручением в Личфилд, и на обратном пути я проезжал мимо тех мест, где находится двор де Клари, но никаких признаков того, что он существует, я не заметил.

– Кто знает наверняка, так это Хью Берингар, – с уверенностью произнес аббат. – Ему известны все до единого члены знатных семейств в нашем графстве. Дождемся, когда он вернется из Винчестера, и тогда спросим. Спешить нам некуда. В любом случае Хэлвин еще не готов исполнить свое покаяние. Он пока прикован к постели.

Глава третья

На четвертый день после Крещения Хью со своими людьми вернулся домой. Погода стояла все такая же серая и мрачная, ночами подмораживало, и хотя к этому времени снега несколько поубавилось, сходил он медленно, и паводка можно было не опасаться. Когда вокруг такие сугробы, внезапная оттепель вовсе ни к чему. Вода в Северне поднимется, подпрудит ручей Меол, и, даже если настоящего наводнения не будет, все равно река разольется и затопит низкие берега, а с ними – луга и поля. Что ж, в нынешнем году хотя бы этой напасти они избежали. Вот почему Хью, уже дома с облегчением скинув плащ и стянув сапоги, смог сообщить жене, что дорога для этого времени года была недурна, а король принял его благосклонно. Элин принесла мужу домашние меховые туфли, а сынишка, повисший на перевязи для меча, потребовал, чтобы

отец немедленно выразил восхищение его новой игрушкой – ярко раскрашенным рыцарем.

– Знаешь, вряд ли рождественское перемирие продлится долго, – говорил Хью на следующий день Кадфаэлю, придя к нему прямо от аббата Радульфуса. – Свое поражение в Оксфорде король, конечно, переносит стоически, но тем не менее горит желанием взять реванш, а потому, зима или не зима, на месте не усидит. Он бы и рад захапать Уорем обратно, но тот хорошо укреплен, да и запасов там не счесть, а сам знаешь его характер – терпеть не может долгие осады. Впрочем, если уж захватывать замки, так лучше на западе, на землях Роберта Глостерского. Но поди угадай, что ему в голову взбредет. Одно несомненно: на юге ни я, ни мои люди ему не нужны. Он справедливо опасается графа Честерского и посему никогда не задерживает нас надолго при своей особе – нельзя же оставлять без присмотра наши края. Да благословит Господь его королевскую мудрость, – с довольным видом закончил Хью свой рассказ о поездке. – Ну, а у тебя как дела? Поверь, я был очень огорчен, когда услышал от аббата, что ваш лучший художник едва не распрощался с жизнью. Он упал, наверное, почти сразу после моего отъезда. Но я правильно понял, сейчас ему уже лучше?

– Хэлвин буквально выкарабкался из могилы, никто из нас поначалу не верил, что он выживет, – ответил Кадфаэль. – И в первую очередь сам Хэлвин, он даже пожелал облегчить душу и исповедаться перед смертью. Но теперь опасность миновала, и через денек-другой ему уже можно будет подняться. Правда, бедняге здорово покалечило плиткой ноги. Брат Льюк мастерит для него костыли. Хью, скажи-ка ты мне вот что, – без обиняков перешел к делу Кадфаэль, – известно ли тебе что-нибудь о неких де Клари из манора Гэльс? Лет эдак двадцать тому назад один из них участвовал в крестовых походах. Это было уже после моего возвращения с Востока, поэтому я его никогда не видел. Ты не знаешь, он еще жив?

– Бертран де Клари, – без промедления ответствовал Хью, с любопытством поглядывая на брата Кадфаэля. – А на кой он тебе сдался? Лорда и самого-то почитай уж лет десять, не меньше, как на свете нет. Титул перешел к сыну. Никаких дел с ними мне иметь не приходилось, ведь в нашем графстве у них только манор Гэльс, а остальные в Стаффордшире. Почему ты вдруг о нем вспомнил?

– Из-за Хэлвина. До того как постричься в монахи, он служил в их доме. А теперь вот ему кажется, что у него там остался неоплаченный долг. Все это всплыло на предсмертной, как ему мнилось, исповеди. Видишь ли, он считает, что на его совести по-прежнему лежит грех.

Вот и все, что Кадфаэль мог открыть даже своему лучшему другу. Тайна исповеди священна, и Хью в голову не придет пускаться в расспросы, если ничего больше не будет сказано, хотя, конечно, никто не может запретить ему гадать и строить предположения.

– Хэлвин вознамерился совершить паломничество в Гэльс, как только будет в состоянии предпринять такое путешествие, и облегчить этим свою душу. Понимаешь… мне подумалось, а вдруг вдова де Клари, как и ее муж, уже покинула сей бренный мир. Тогда я скажу об этом Хэлвину, и, может быть, он перестанет думать о паломничестве.

Хью слушал брата Кадфаэля с сочувственным вниманием. Когда тот закончил, на губах у Хью играла добродушная улыбка.

– Ах, вот оно что. Ты хочешь не только излечить тело, но и успокоить душу Хэлвина. Так сказать, облегчить его бремя. Сожалею, но помочь ничем не могу. Вдова еще этой осенью была жива-здорова и исправно заплатила подати к Михайлову дню. Ее сын женился на стаффордширской девице. Сейчас у них уже подрастает наследник. Старая леди, насколько я слышал, не из тех, кто будет делить власть в доме с другой женщиной, ну а манор Гэльс она предпочитает всем другим. Вот и получается, что, ко всеобщему удовольствию, она живет и заправляет делами в Гэльсе, а ее сын там, в Стаффордшире. Обоих это более чем устраивает. Вообще-то, все, что я тебе рассказал, мне стало известно по чистой случайности, – спохватившись, объяснил Хью. – Просто, возвращаясь из Винчестера, мы проехали несколько миль вместе с людьми де Клари, которые еще только разъезжались по домам после осады Оксфорда. Самого де Клари с ними не было, он остался при дворе. Хотя сейчас он, наверное, уже на пути к жене и сыну, если только король не удерживает его при себе для каких-то ему одному ведомых целей.

Кадфаэля новости огорчили, но он постарался отнестись к ним философски. Итак, она жива, эта женщина, которая пыталась помочь дочери избавиться от ребенка, а в результате помогла ей отправиться на тот свет. Что ж, бедняжка Бертрада не первая и не последняя, кто нашел такой конец. Но как, поди,

убивалась тогда ее мать! Какие кошмарные воспоминания покоятся под спудом прошедших восемнадцати лет! Не стоило бы тревожить старые раны. Но изнемогающая под тяжестью вины, жаждущая прощения душа Хэлвина тоже имеет право обрести покой. И было-то ему тогда всего восемнадцать! А эта женщина, которая запретила юноше надеяться когда-либо получить согласие на брак с ее дочерью, была в ту пору старше его по меньшей мере вдвое. «Могла бы вести себя поумнее, – почти возмущенно подумал Кадфаэль, – и, если уж на то пошло, разлучить влюбленных вовремя, не доводя дела до крайности».

– Тебя, Хью, никогда не восхищала мудрость поговорки: «Не буди лиха, пока спит тихо»? – удрученно вопросил своего друга брат Кадфаэль. – Впрочем, что об этом толковать? Ведь Хэлвин пока даже не опробовал костылей. Кто знает, что еще может случиться в ближайшее время.

В середине января монастырские братья помогли Хэлвину подняться с давно опостылевшего ему ложа и здесь же в лазарете устроили его в уголке у пылающего очага, ведь он, калека, не мог передвигаться свободно, как другие, и хоть так противостоять холоду. Каждый день они растирали его одеревеневшее от долгого лежания, измученное тело целебными бальзамами и маслами. Для того чтобы у него были заняты голова и руки, Хэлвину принесли краски и приспособили на коленях доску. Пока его пальцы не обрели былой уверенности и гибкости, ему давали для росписи что попроще. Искромсанные сланцевыми плитками ноги Хэлвина кое-как зажили, но смотреть на них было жутковато, и о том, чтобы вставать, покамест не могло быть и речи. Правда, один раз Кадфаэль все же позволил Хэлвину, надежно поддерживаемому с обеих сторон братьями, немного постоять, опираясь на костыли, которые смастерил для него брат Льюк. Откровенно говоря, еще неизвестно было, понадобятся ли вообще ему эти костыли. Если Хэлвин не сможет опираться ни на одну ногу, какой тогда прок от костылей? И все же Кадфаэль и Эдмунд очень надеялись, что со временем Хэлвин сможет наступать на правую ногу, а там, глядишь, мало-помалу и на левую, если, конечно, помочь ему в этом, проявив выдумку и изобретательность при изготовлении особой обуви.

Вот почему в конце января брат Кадфаэль посетил молодого Филипа Корвизера, сына провоста, и, немало поломав голову, объединенными усилиями они соорудили страшные с виду (как и ноги, для которых они были изготовлены), но теплые сапоги, которые должны были обеспечить устойчивость изуродованным стопам Хэлвина. Сделаны сапоги были из толстенного войлока, на прочной

кожаной подошве, плотно стягивались ремнями, прикрывая и оберегая покалеченную плоть, а главное, создавая ей надежную опору. Хорошо еще, основные кости уцелели. Филип был очень доволен своей работой, но не желал слышать никаких слов благодарности, пока Хэлвин не примерит сапоги и не удостоверится, что ему в них удобно.

Все, что братья делали для него, Хэлвин принимал со смиренной благодарностью и день за днем настойчиво трудился, восстанавливая свое мастерство. Однако едва лишь выдавалась свободная минута, он брал костыли, выбирался из своего уголка и, неуверенно балансируя на слабых ногах, упрямо учился ходить, готовый в любой миг схватиться за стену, если потеряет равновесие. Понемногу к его мышцам начала возвращаться сила, и уже в начале февраля Хэлвин уверенно опирался на правую ногу, более того – он даже мог стоять на ней несколько мгновений. С этого времени Хэлвин ковылял на своих костылях самостоятельно, не пропускал ни одной службы и опять начал петь в хоре. К концу февраля он научился использовать в крайних случаях и левую ногу, хотя, разумеется, вставать на нее не мог, да и вряд ли она когда-нибудь сумела бы теперь выдержать его вес, каким бы малым он ни был.

В одном Хэлвину повезло. После того как стаял тот ужасный снег, что обрушился в декабре на всю округу, погода установилась более или менее приличная. Отдельные заморозки, конечно, случались еще не раз, но длились они недолго, а если снег и выпадал, то сходил почти сразу. Вот поэтому, едва приспособившись к костылям, Хэлвин принялся упражняться в ходьбе на свежем воздухе и скоро достиг в этом больших успехов. Трудности возникали у него теперь только при заморозках, когда покрывались льдом булыжники монастырского двора.

В марте дни удлинились, и весна принялась боязливо намекать о своем скором приходе. И вот однажды брат Хэлвин, дождавшись на собрании капитула, когда закончится обсуждение неотложных дел, встал со своего места и смиренно, но твердо попросил выслушать его. Смысл его просьбы был понятен только аббату Радульфусу и брату Кадфаэлю.

– Отец аббат, – заговорил Хэлвин, не сводя темных глаз с Радульфуса, – тебе известно, что, когда со мной приключилось несчастье, я возымел горячее желание совершить паломничество, буде Господь проявит ко мне, грешному, Свою милость и дарует исцеление. Отец наш небесный не покинул меня в моих горестях, и теперь я прошу позволения исполнить свой обет. Уповаю на молитвы моих братьев во Христе, и да помогут мне молитвы эти осуществить задуманное

и благополучно вернуться в обитель.

Радульфус взирал на просителя в молчании, ничем не проявляя своих чувств, продолжалось это так долго, что у Хэлвина от волнения кровь прилила к впалым щекам.

– Зайди ко мне после капитула, – произнес наконец аббат. – Ты расскажешь мне, как собираешься действовать, а я решу, в силах ли ты выполнить это.

В покоях аббата Хэлвин еще раз повторил свою просьбу. Говорил он открыто, не таясь, ведь присутствующие знали о его прегрешениях. Кадфаэль понимал, почему его пригласили присутствовать при этом разговоре. Прежде всего, для него не было тайной содержание предсмертной исповеди Хэлвина, а еще он мог высказать мнение о состоянии здоровья своего подопечного и оценить, способен ли тот совершить такое длинное путешествие. Но была еще и третья причина, о которой брат Кадфаэль до поры до времени не догадывался.

– Не могу и не хочу, – сказал аббат, – удерживать тебя от исполнения того, чего жаждет твоя душа. Но полагаю, ты еще недостаточно окреп. Погода последние недели нас баловала, но до настоящей весны пока далеко, может быть, завтра опять похолодает. Одумайся, ведь совсем недавно ты лежал при смерти и мы боялись, что ты отойдешь в мир иной. К чему спешить? Подожди, пока у тебя прибавится сил, и тогда, с Божьей помощью, ты исполнишь свой обет.

– Святой отец, – горячо возразил Хэлвин, – потому я и спешу, что был так близок к смерти. А что, если она настигнет меня, прежде чем я успею искупить свой грех? Нежданная кончина может положить предел любой жизни. Мне ли этого не знать? Ведь я уже получил предостережение и не могу отмахнуться от него так просто. Если я встречусь со смертью во время исполнения своего обета, то с радостью брошусь в ее объятия. Но умереть, даже не попробовав получить прощение, для меня хуже самой смерти. Отец мой, – умоляюще проговорил Хэлвин, вперив в аббата свой пылающий взор, – я любил ее истинной любовью, любил как дорогую моему сердцу супругу, мечтал повести ее к алтарю и не расставаться с нею, покуда смерть не разлучит нас. И сам невольно погубил свою возлюбленную. Долго, слишком долго моя душа изнывала под невыносимым бременем вины, и теперь, когда на смертном ложе я открыл вам свою тайну, я жажду понести справедливое наказание.

– А ты подумал о том расстоянии, которое тебе предстоит преодолеть на пути туда, а затем обратно? Не отправиться ли тебе в твое паломничество верхом?

Хэлвин затряс головой.

– Святой отец, я уже дал себе обещание и собираюсь повторить свою клятву перед алтарем, что пройду весь путь до ее могилы пешком и так же, пешком, вернусь обратно – на этих самых ногах, ведь именно они явились причиной того, что я узрел истину. Мне ведомо теперь, каково приходится несчастным, хромым от рождения. Почему же я, который виновен в столь страшных грехах, должен быть избавлен от подобных мук? У меня достанет сил вынести дорогу. Брат Кадфаэль подтвердит это.

Брату Кадфаэлю отнюдь не понравилось, что его призывают в свидетели, а тем более ему не хотелось поощрять Хэлвина в его безумном предприятии, но он не видел другого способа вернуть бедняге спокойствие духа.

– Я знаю, что у брата Хэлвина достанет воли и смелости, – промолвил Кадфаэль. – А вот хватит ли у него сил, я не ведаю. И не берусь судить, имеет ли он право ради очищения совести подвергать опасности свое бренное тело.

Аббат размышлял несколько минут, сверля Хэлвина твердым немигающим взглядом. Если бы помыслы несчастного просителя не были чисты, ему ни за что было бы не выдержать этого проницательного всевидящего взора, но Хэлвин все так же открыто и прямо смотрел на Радульфуса.

– Что ж, я признаю за тобой право на покаяние, каким бы запоздалым оно ни было, – заговорил наконец аббат. – И прекрасно понимаю, что молчал ты не ради себя. Ладно, ступай, попытайся совершить свое паломничество. Но одного я тебя не отпущу. Я отправлю с тобой провожатого, который при необходимости сумеет позаботиться о тебе. Если у тебя хватит сил дойти до Гэльса, он не станет ни в чем чинить тебе препятствия, но если свалишься по дороге, он примет надлежащие меры, а ты должен пообещать повиноваться ему, как повиновался бы мне самому.

– Святой отец, – испуганно встрепенулся брат Хэлвин, – мой грех – это мой грех, и тайна исповеди священна. Как же я могу отправиться в Гэльс со спутником, у которого волей-неволей возникнут вопросы о цели моего паломничества? Даже

одно его затаенное недоумение и то опасно для моей тайны.

– Я дам тебе спутника, у которого не возникнет никаких вопросов, потому что он уже знает ответы на них, – промолвил Радульфус. – Я посылаю с тобой брата Кадфаэля. Его общество, равно как и его молитвы, пойдут тебе только на пользу. Доброе имя несчастной девушки не подвергнется никакой опасности, брат Кадфаэль присмотрит за тобой по дороге, а в случае нужды всегда сможет оказать помощь. – Повернувшись к Кадфаэлю, аббат спросил: – Согласен ли ты выполнить это поручение? Мне кажется, брату Хэлвину не стоит одному пускаться в дорогу. Он еще слишком слаб.

«Словно у меня действительно есть выбор», – подумал Кадфаэль, хотя нельзя сказать, чтобы просьба аббата показалась ему обременительной. Где-то в глубине души старого монаха еще теплился тот бродяжий дух, что заставил его более сорока лет назад покинуть родной Уэльс и отправиться в Иерусалим, а оттуда в Нормандию, прежде чем он наконец обрел тихое пристанище за монастырскими стенами. Но поскольку не он сам все это затеял, а его настоятельно попросили сопровождать увечного собрата, почему бы ему не отнестись к предстоящему путешествию как к нечаянному подарку судьбы, вместо того чтобы бежать от этой мысли, как от опасного соблазна?

– Как благословишь, отец аббат, – ответил Кадфаэль, – я готов.

– Паломничество займет несколько дней. Думаю, пока тебя не будет, брат Винфрид с помощью брата Эдмунда сумеет разобраться с мазями и бальзамами.

– Они отлично управятся без меня, – согласился Кадфаэль. – Лишь вчера я пополнил запас лекарств в лазарете, да и в моем сарайчике всегда наготове ходовые снадобья, которые бывают нужны в зимнюю пору. В случае чего брат Освин из приюта Святого Жиля всегда может на время заменить меня.

– Ну вот и славно! Тогда, брат Хэлвин, можешь не откладывая готовиться к путешествию и хоть завтра утром отправляться в дорогу. Но ты должен дать мне обещание повиноваться во всем брату Кадфаэлю и выполнять его распоряжения так же безропотно, как всегда выполнял мои в этих святых стенах.

– Обещаю, святой отец, – выдохнул Хэлвин.

В тот же день после вечерни брат Хэлвин повторил свою клятву совершить паломничество в Гэльс у алтаря святой Уинифред, дабы не оставить себе никаких путей к отступлению. Присутствующий при этом по просьбе Хэлвина Кадфаэль, глядя на его неспокойное, сумрачное лицо, понял, что тот не только хорошо осознает, на какие тяжкие мучения себя обрекает, но и страшится их. Разумеется, Кадфаэль предпочел бы видеть всю эту страстную одержимость направленной на какие-нибудь другие, более практические и плодотворные цели, поскольку, даже если путешествие пройдет благополучно, кому от него польза? Одному лишь Хэлвину, которому оно вернет хоть частичку самоуважения. Уж никак не его бедной избраннице, чья единственная вина заключалась в том, что она слишком искренне и страстно предалась любви, и которая давно уже покоится в могиле. И не ее матери, что почти двадцать лет пыталась забыть случившееся, как дурной сон, а теперь будет вынуждена сызнова все вспомнить. Брат Кадфаэль никогда не понимал людей, которые спасение собственной души ставят выше спокойствия ближнего. Ведь на свете столько несчастных, болящих и душой и телом, разве не о них следует заботиться в первую очередь? И все же от потребности Хэлвина совершить покаяние так просто не отмахнешься. Он заслужил его всеми прошедшими горькими годами безмолвного страдания.

– На этих святых мощах, – говорил брат Хэлвин, возложив руку на драгоценную ткань, покрывающую ковчег, – даю обет не знать отдыха и успокоения, пока пешком не дойду до места, где похоронена Бертрада де Клари, и не проведу там ночь в молитвах за упокой ее души, а затем пешком вернусь в монастырь, чтобы вновь приступить к своему служению. А если я не исполню сего обета, пусть меня назовут клятвопреступником и я умру, не получив отпущения грехов.

В путь они тронулись сразу после заутрени на четвертый день марта. Миновали Форгейт, затем часовню и приют Святого Жиля и, двигаясь все время на восток, вышли на дорогу, ведущую в Гэльс. Погода стояла пасмурная и безветренная, воздух был холодный и бодрящий, но не такой студеный, как зимой. Кадфаэль мысленно представил себе путь, который им предстояло пройти, и решил, что он вполне преодолим. Западные холмы остались у них за спиной, а чем дальше к востоку, тем более легкой будет становиться дорога среди благодатных зеленых равнин. Последнее время дождей не было, а потому не было и луж, а белесые облака хоть и затянули все небо, но застыли где-то высоко-высоко; идти по

широкой, ровной, поросшей травой обочине было не трудно даже тому, кто передвигался на костылях. Первые мили Хэлвин, видимо, преодолеет достаточно легко, а затем усталость начнет накапливаться, и тут придется быть начеку и вовремя делать привалы, потому что сам Хэлвин не остановится, а, стиснув зубы, будет идти вперед, пока не свалится замертво. Где-нибудь вблизи Рекина они подыщут пристанище на ночь, в гостеприимстве местных жителей сомневаться не приходилось, любой из них с радостью предоставит кров и место у огня двум монахам из бенедиктинского аббатства. И пропитание у них с собой имелось: целая сума, набитая всяческой снедью, висела на плече у Кадфаэля.

С утра, пока Хэлвин был полон сил и энергии, им удалось пройти немалое расстояние. В полдень они с приятностью отдохнули и пообедали в доме аттингемского приходского священника. Но днем скорость их продвижения замедлилась. Плечи Хэлвина нестерпимо болели от монотонно повторяющихся усилий и столь длительной нагрузки, а его руки, хоть и были обмотаны шерстяными тряпками, мерзли и с трудом удерживали костыли, потому что ближе к вечеру заметно похолодало. Как только сумерки начали сгущаться, Кадфаэль заявил, что на сегодня они прошли уже достаточно, и в поисках ночлега свернул в деревушку Аппингтон.

Весь этот день Хэлвин по вполне понятной причине почти не открывал рта, полностью сосредоточившись на ходьбе, но сейчас, когда они отдыхали после ужина у огня, он прервал наконец затянувшееся молчание.

– Брат, – сказал Хэлвин, – я бесконечно благодарен тебе за то, что ты согласился разделить со мною тяготы пути. Ни с кем другим, лишь с тобой я могу говорить о своем великом горе, а я чувствую, что еще до нашего возвращения в обитель у меня может возникнуть в этом потребность. Самое худшее обо мне ты уже знаешь, я не ищу себе оправданий. Но пойми, впервые за долгие годы я смог произнести ее имя вслух – словно восемнадцать лет умирал от жажды, а нынче мне подали напиться.

– Молчи или говори, сколько тебе вздумается, твоя воля, – успокаивающе произнес Кадфаэль. – Но сейчас ты должен как следует отдохнуть, ведь за сегодняшний день мы проделали не меньше трети пути. Ты вконец вымотался, и завтра тебе придется совсем скверно: к тем болям, что ты уже испытываешь, прибавятся новые.

– Я и правда притомился, – с мимолетной трогательной улыбкой сознался Хэлвин. – Как ты полагаешь, мы дойдем завтра до Гэльса?

– И думать забудь! Завтра мы доберемся до обители монахов-августинцев в Уомбридже и переночуем там. Ты показал сегодня себя молодцом и не должен теперь впадать в уныние из-за того, что мы придем в Гэльс на день позже, чем тебе хотелось бы.

– Как скажешь, брат, – безропотно согласился Хэлвин и улегся спать, уверенный, как невинный младенец, что молитва охранит его ото всех бед.

На следующий день погода испортилась. Сеял мелкий дождик, временами переходящий в снег, дул порывистый северо-восточный ветер, от которого зеленые склоны Рекина не давали никакой защиты. Но они добрели до монастыря еще прежде, чем стемнело. Хэлвин и сам не знал, как сумел пройти последние мили. Лицо его осунулось и побледнело, кожа обтянула скулы, и только провалившиеся глаза горели все тем же лихорадочным блеском. Кадфаэль от души порадовался, когда они наконец очутились в тепле и он смог растереть руки и ноги Хэлвина, которым так досталось за сегодняшний день.

А назавтра около полудня они уже подходили к Гэльсу.

Манор Гэльс располагался немного в стороне от деревни и приходской церкви. Сам дом был деревянный, а первый полуподвальный этаж со сводчатыми окнами – каменный. Вокруг расстилались ровные зеленые луга, вдали виднелись поросшие редким лесом пологие холмы. За частоколом выстроились в ряд аккуратные, ухоженные строения: конюшня, амбар, пекарня. Стоя у открытых ворот, брат Хэлвин глазами, полными боли, молча смотрел на графский дом.

– Четыре года я провел здесь, составляя и переписывая бумаги, – промолвил Хэлвин. – Мой отец был вассалом Бертрана де Клари, и меня определили к госпоже пажом, когда мне не исполнилось еще и четырнадцати лет. Ты не поверишь, но самого Бертрана я так никогда и не видел: еще до моего появления здесь он успел отправиться в Святую землю. Манор Гэльс – только одно из поместий де Клари, все остальные находятся в Стаффордшире, там его сын и заправляет всеми делами. А мать его любит Гэльс и жила всегда только в нем. Потому меня сюда и послали. Для нее было бы лучше, если бы я никогда не

переступал порога этого дома. А еще лучше это было бы для Бертрады!

– Теперь уже ничего не исправишь, что сделано, то сделано, – мягко заметил Кадфаэль. – Сегодня ты можешь исполнить лишь то, ради чего явился сюда. Просить прощения никогда не поздно. Давай я останусь тут, а ты пойдешь к старой леди один, пожалуй, тебе будет легче объясниться с ней без свидетелей.

– Нет, – возразил Хэлвин. – Я хочу, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре. Мне необходим честный и беспристрастный свидетель.

Едва он договорил, как из конюшни показался светловолосый подросток с вилами в руках. Завидев у ворот двух бенедиктинских монахов в черном облачении, он прислонил вилы к стене и, радушно улыбаясь, подошел к ним.

– Если вы голодны, братья, или нуждаетесь в пристанище на ночь, милости просим. Наш дом всегда открыт для лиц вашего звания. Заходите, на кухне вас досыта накормят, а потом в свое удовольствие отдохнете на сеновале.

– Я помню, – проговорил Хэлвин, мысли которого продолжали витать в прошлом, – твоя госпожа всегда привечала странников. Но сегодня ночью мне постель не понадобится. Я пришел, чтобы переговорить с леди Аделаис де Клари, если она соблаговолит принять меня. Всего на несколько минут.

Паренек пожал плечами, глядя на монахов серыми непроницаемыми саксонскими глазами, и махнул рукой в сторону дома.

– Поднимитесь вон по тем каменным ступеням, зайдите внутрь и спросите Герту, ее служанку, примет ли вас госпожа.

Пока монахи шли по двору, он провожал их взглядом, потом повернулся и вошел в конюшню.

Не успели они переступить порог дома, как им встретился слуга, только что поднявшийся снизу, из кухни. Вежливо осведомившись, чего им угодно, он кликнул мальчишку-поваренка и велел ему разыскать камеристку госпожи, которая не замедлила появиться, недоумевая, с чем это к ним пожаловали гости из монастыря. На вид ей можно было дать лет сорок, одежда ее сияла чистотой

и опрятностью, а вот лицо, увы, испещряли рытвины от перенесенной когда-то оспы. По ее решительным манерам нетрудно было догадаться, что она уверена в себе и в своем положении личной служанки хозяйки дома. Она смерила их высокомерным взглядом и хмуро выслушала смиренную просьбу Хэлвина, ясно давая понять, кто здесь главный.

– Полагаю, вы пришли из Шрусбери по поручению милорда аббата?

– Милорд аббат благословил нашу миссию, – ответил брат Хэлвин, устало навалившись на костыли.

– Это не одно и то же, – отрезала Герта. – Какая еще надобность, кроме монастырских нужд, могла привести вас сюда? Если же вы явились сами по себе, назовитесь, чтобы моя госпожа знала, кто вы такие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/piters_ellis/ispoved-monaha

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити